

Ю.М.Лотман

*В школе
поэтического
слова*

*ТУШКИН
ЛЕРМОНТОВ
ФОГОЛЬ*

Ю.М.Лотман

*В школе
поэтического
слова*

**ПУШКИН
ЛЕРМОНТОВ
ГОГОЛЬ**

Книга для учителя

МОСКВА
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
1988

на. Такая статическая целостность образуется при **словесном пересказе**, в форме художественного повествования, наших впечатлений от определенной личности. Само же непосредственное наблюдение всегда отрывочно, фрагментарно и противоречиво. Склейивание и унификация этих впечатлений в единый образ — результат вторичных психологических операций, не свободных от влияния художественного опыта.

Таким образом, слишком смело было бы утверждать, что художественное и нехудожественное моделирование человеческой личности имеют вечные, статически противопоставленные признаки, которые могут быть имманентно описаны вне их взаимной соотнесенности. Духу мысли Тынянова, как кажется, более будет соответствовать представление о них как о динамической, взаимно соотнесенной системе, постоянство которой заключается во взаимном отличии, а функция — в периодической агрессии через разделяющую их границу в структуре культуры. В эпоху Пушкина именно литературным повествовательным текстам присыпались свойства большей организованности и упорядоченности, чем та, которая свойственна потоку жизни:

И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел¹.

Разрушая плавность и последовательность истории своего героя, равно как и единство характера, Пушкин переносил в литературный текст непосредственность впечатлений от общения с живой человеческой личностью. Только после того, как онегинская традиция вошла в художественное сознание русского читателя как своего рода эстетическая норма, стало возможным преображение цепи мгновенных видений автором героя в объяснение его характера: непосредственное наблюдение повысилось в ранге и стало восприниматься как модель. Одновременно жизни стали присыпаться свойства простоты, цельности, непротиворечивости. Если прежде жизнь воспринималась как цепь бессвязных наблюдений, в которых художник силой творческого гения вскрывает единство и гармонию, то теперь бытовое наблюдение приравнивалось к утверждению, что человек прост и непротиворечив; поверхностный наблюдатель видит рутинное благополучие и пошлое, обыденное единство там, где художник вскрывает то, «чего не зрят равнодушные очи» (Гоголь), — трагические разрывы, глубинные контрасты.

«Евгений Онегин» знаменует момент равновесия этих двух тенденций, что подразумевало не только присыпание литературе свойств жизни, но и жизни — черт литературы. В этом смысле чрезвычайно знаменателен конец пушкинского романа: приложив столько усилий к тому, чтобы финал «Онегина» не напоминал

¹ Баратынский Е. Полн. собр. стихотворений.— М., 1936.— Т. 1.— С. 168.

традиционных описаний «при конце последней части», Пушкин вдруг приравнивает Жизнь (с заглавной буквы!) роману и заканчивает историю своего героя образом оборванного чтения:

Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел Ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим (VI, 190).

Поэт, который на протяжении всего произведения выступал перед нами в противоречивой роли автора и творца, созданием которого, однако, оказывается не литературное произведение, а нечто прямо ему противоположное — кусок живой Жизни, вдруг предстает перед нами как читатель (ср.: «и с отвращением читая жизнь мою»), т. е. человек, связанный с текстом. Но здесь текстом оказывается Жизнь. Такой взгляд связывает пушкинский роман не только с многообразными явлениями последующей русской литературы, но и с глубинной и в истоках своих весьма архаической традицией.

Мы любим, говоря о Пушкине, именовать его родоначальником, подчеркивая тем самым связь с последующей и разрыв с предшествовавшей ему эпохой. Сам Пушкин в творчестве 1830-х гг. более был склонен подчеркивать непрерывность культурного движения. Резкое своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» лишь подчеркивает его глубокую двустороннюю связь с культурой предшествующих и последующих эпох.

ИДЕЙНАЯ СТРУКТУРА «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ»

«Капитанская дочка» — одно из наиболее совершенных и глубоких созданий Пушкина — неоднократно была предметом исследовательского внимания. В обширной литературе вопроса особо следует выделить ряд исследований Ю. Г. Оксмана¹ и главу в книге Г. А. Гуковского². Архивные разыскания и публикации документов, равно как и тонкий анализ идеального содержания повести в работах Ю. Г. Оксмана, производимый на обычном для этого исследователя широком идеологическом фоне, и рассмотрение

¹ Работы Ю. Г. Оксмана, посвященные «Капитанской дочке», публиковались между 1934 и 1955 гг. В дальнейшем они вошли в книгу «От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева» (Саратов, 1959). Здесь же на с. 101—102, 105, 110—111 и 131 — обзор литературы вопроса. Литература о «Капитанской дочке», появившаяся после первой публикации настоящей главы, указана в кн.: Гильельсон М. И., Мушина И. Б. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Комментарий: Пособие для учителя.— Л., 1977.— С. 186—191. Здесь особенно следует выделить работы Г. П. Магогоненко, Н. Н. Петруниной, Л. С. Сидякова и И. М. Тойбина.

² Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля.— М., 1957.

художественной природы повести, ее места в истории формирования пушкинского реализма в книге Г. А. Гуковского составляют высшие достижения советского литературоведения в этой области. И если те или иные конкретные положения этих работ могут стать предметом научного спора, то это не умалит их значения как основы для любого дальнейшего углубления в анализ пушкинской повести. Ряд глубоких замечаний исследователя найдет в работах Б. В. Томашевского, В. Б. Шкловского, Д. П. Якубовича, Е. Н. Курченко¹, Н. К. Пиксанова, Д. Д. Благого и др. Это, однако, не означает, что проблематика «Капитанской дочки» выяснена исчерпывающе. Более того, многие кардинальные вопросы позиции Пушкина в «Капитанской дочке» все еще продолжают оставаться дискуссионными. Таково, например, истолкование знаменитых слов о «русском бунте». Если Ю. Г. Оксман считает их своеобразной данью цензурным условиям, воспроизведением охранительной точки зрения (равной взглядам Дашковой и Карагзина), разоблачаемой всем ходом повествования, вызывающего читательское сожущество Пугачеву, то другой авторитетный знаток творчества Пушкина Б. В. Томашевский писал: «Оставленная в тексте романа сентенция отнюдь не вызывалась необходимостью изложения событий. Что же касается до взглядов Гринева, как героя романа, на Пугачева и крестьянское движение, то Пушкин отлично охарактеризовал их в других более четких словах и в самом ходе действия. Если он сохранил эту фразу, то потому, что она отвечала собственной системе взглядов Пушкина на крестьянскую революцию. За этой фразой не кроются ни презрение к русскому крепостному крестьянству, ни неверие в силы народа, ни какие бы то ни было охранные мысли. Эта фраза выражает, что Пушкин не верил в окончательную победу крестьянской революции в тех условиях, в которых он жил».

Это не единственный из спорных вопросов, возникающих в связи с «Капитанской дочкой». Решение их следует искать на путях анализа произведения как идеально-художественного единства.

Путь пушкинских мыслей от «Дубровского» к замыслам о Шваниче, Башарине (параллельно с работой над «Историей Пугачева») и, наконец, к «Капитанской дочке» хорошо изучен в работах Ю. Г. Оксмана² и ряда других исследователей³. Суммировать эти данные можно следующим образом: Пушкин в начале 1830-х гг., исходя из чисто политического наполнения понятия свободы, пришел к убеждениям, весьма характерным для про-

должателей декабристской мысли⁴. Свобода, понимаемая как личная независимость, полнота политических прав, в равной мере нужна и народу, и дворянской интеллигенции, утратившей антинародные феодальные привилегии, но выковавшей в вековой борьбе с самодержавием свободолюбивую традицию. Борьба за уважение деспотом прав дворянства — форма борьбы за права человека. С этих позиций народ и дворянская интеллигенция («старинные дворяне») выступают как естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник — самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную самодержавным произволом псевдоаристократию, «новую знать». В области художественной типологии такой подход подразумевал своеобразную конструкцию образа: определяющим в человеке считалось не социальное бытие, которое было у Дубровского и Троекурова общим (Пушкин, конечно, был чужд вульгарно-социологическому противопоставлению «мелкопоместного» и «крупного» барства), а принадлежность к определенному кругу идей, культурно-психологическому типу. Только с этих позиций можно было признать, что дворянин, общий с О涅гиным, образ жизни не затрагивает народного нравственного склада Татьяны, а Дубровский может перейти на сторону народа, оставаясь дворянином. Он утратил имущество, но не пережил того нравственного переворота, который потребовался, например, Нехлюдову, чтобы перейти на сторону народа. Дубровский в крестьянском отряде — это нравственно тот же Дубровский, каким он был до рокового перелома своей судьбы. Прощедшая жизнь офицера и помещика не представляется ему грехом и скверной, а новая — нравственным воскресением. Русский столбовой дворянин, наследник бековой традиции сопротивления самодержавию, он естественный союзник народа. И в качестве вождя восставших он сохраняет патриархальную власть над своими крестьянами. Его отряд скорее напоминает партизанскую «патрию» 1812 г., возглавленную офицером типа Васьки Денисова или Николая Ростова (которого его гусары называют «наш граф»), чем русскую крестьянскую вольницу, поднявшуюся с топором на господ.

«Общие замечания», которыми снабдил Пушкин «Историю Пугачева» для Николая I, свидетельствуют о глубоком переломе, который произошел во взглядах Пушкина в ходе изучения материалов крестьянской войны под руководством Пугачева. Пушкин писал: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало.<...> Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны» (IX, 1, 375). Именно то, что

¹ Томашевский Б. В. Пушкин.— М.; Л., 1961.— Кн. II.— С. 189.

² См.: Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева.— С. 5—36.

³ См., например: Шкловский В. Заметки о прозе Пушкина.— М., 1937; Фокин Н. И. К истории создания «Капитанской дочки» // Уч. зап. Уральского пед. ин-та.— 1957.

⁴ Ср. сопоставление экономических взглядов Пушкина и М. Орлова в работе: Боровой С. Я. Об экономических взорваниях Пушкина в начале 1830-х гг. // Пушкин и его время.— Л., 1962.— Вып. 1.

в основе поведения людей, как теперь считает Пушкин, лежат «интересы», позволяет объединить всех дворян, без различия их идейно-интеллектуального уровня, степени свободолюбия или сервилизма, в один, общий с правительством, лагерь, противопоставленный «черному народу». Типизация художественного образа приобрела отчетливо социальную окраску. Это, в свою очередь, наложило отпечаток на всю идейно-художественную структуру повести.

Вся художественная ткань «Капитанской дочки» отчетливо распадается на два идейно-стилистических пласта, подчиненных изображению двух миров: дворянского и крестьянского. Было бы недопустимым упрощением, препятствующим проникновению в подлинный замысел Пушкина, считать, что дворянский мир изображается в повести только сатирически, а крестьянский — только сочувственно, равно как и утверждать, что все поэтическое в дворянском лагере принадлежит, по мнению Пушкина, не специфически дворянскому, а общенациональному началу¹.

Каждый из двух изображаемых Пушкиным миров имеет свой бытовой уклад, овеянный своеобразной, лишь ему присущей поэзией, свой склад мысли, свои эстетические идеалы. Быт Гринева, воспитание героя даются сквозь призму ассоциаций с бытом фонвизинских героев². Однако резкая сатиричность образов Фонвизина смягчена. Перед нами — рассказ вызывающего сочувствие читателей героя о своем детстве. Фонвизинские отзовки воспринимаются не как сатирическое изображение уродства неразумной жизни плохих помещиков, а как воссоздание *характерного* в дворянском быту XVIII в. Уклад жизни провинциального дворянина Гринева не противоставлен, как это было у Фонвизина, вершинам дворянской культуры, а слит с ней воедино. «Простаковский» быт Гриневых не снимает их связи с лучшими традициями дворянской культуры XVIII в. и их порождением —

¹ В этом смысле характерно часто встречающееся стремление исследователей перенести «простого» Миронова из дворянского лагеря в народный. Позиция Пушкина в «Капитанской дочки» значительно более социальна, чем, например, Толстого в «Войне и мире», где Ростовы, действительно, вместе с народом противопоставлены миру Курягинных. Не случайно Пушкин не ввел в повествование фигуры троекуровского типа — вельможи XVIII в., антагонисты Гриневых и Мироновых.

² Отец Гринева «женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве» (VIII, 1, 279). Этот эпизод, бесспорно, должен был проецироваться в сознании читателей на релики Простаковой и воскрешать атмосферу помещичьего быта XVIII в.: «Покойник батюшка женился на покойнице матушке. Она была по прозванию Принцессой. Нас, детей, было у неё восемнадцать человек, да, кроме меня с братом, все, по власти господней, примерли» («Недоросль», д. III, явл. 5). Из этой же сцены Пушкин взял другую, рядом расположенную, релику эпиграфом к главе «Крепость»: «Старинные люди, мой батюшка (Недоросль)». Савельич охарактеризован цитатой из «Послания к слугам моим» Фонвизина: «И денег и белья и дел моих рачитель» (там же.— С. 284).

чувством долга, чести и человеческого достоинства. Не случайно «дворянский» пласт повести пронизан отзвуками и ассоциациями, воскрешающими атмосферу русской дворянской литературы XVIII в. с ее культом долга, чести и человечности. Этой цели служат и эпиграфы, частично подлинно заимствованные из поэтов XVIII в., частично под них стилизованные. Пушкину важно было, чтобы имена Сумарокова, Княжнина, Хераскова значились под названиями глав, определенным образом ориентируя читателя. Гринев в детстве, как и Митрофан, «жил недорослем, гоняя голубей» (VIII, 1, 280), но вырос не Скотинным, а честным офицером и поэтом, стихи которого — «для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалил» (там же.— С. 300). Точно так же «по-домашнему» вплетается в повествование и имя Тредьяковского, который оказывается учителем Швабрина (там же). Гринев — наследник русского вольтерянского рационализма — не может без стыдливой оговорки о том, что «сродно человеку предаваться суеверии, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам» (там же.— С. 289), рассказать о своем загадочном сне. В духе русских юристов XVIII в.— последователей Беккарии — он протестует против пытки («думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения,— мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу» (там же.— С. 317)).

Крестьянский уклад жизни овеян своей поэзией: песни, сказки, легенды пронизывают всю атмосферу повествования о народе. Особое место занимают пословицы, в которых выкристаллизовалось своеобразие народной мысли. Исследователи неоднократно обращали внимание на роль пословиц и загадок в характеристике Пугачева. Но пословицами говорят и другие персонажи из народа. Савельич пишет в отписке барину: «Быль молодуши не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается» (там же.— С. 312). Пушкин подчеркнул, что речь Пугачева, ворвавшая все своеобразие народного языка, дворянину непонятна: «Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора», — пишет Гринев (там же.— С. 290). При этом показательно, что тайный «воров-

¹ Конечно, Гриневу принадлежат и вызвавшие многочисленные споры слова о «русском бунте». Ю. Г. Оксман привел параллели к рассуждениям Гринева из записок Дашковой и произведений Карамзина. Подобные примеры можно было бы привести в очень большом числе. Хочется лишь отметить, что в контексте русской идейной жизни конца XVIII в.— и это было Пушкину прекрасно известно — подобные высказывания имели не охранительный, а либерально-дворянский характер. Однако спор о значении этих слов Гринева приобрел явно гипертрофированный характер, заслонив собой анализ всей повести как таковой. Из того, что осуждение «русского бунта» принадлежит Гриневу, не вытекает автоматически никаких выводов о позиции Пушкина. Ее нельзя вывести простым толкованием отдельных сентенций. Следует определить значение всего замысла в его единстве.

ской» языком, которым пользуются Пугачев и хозяин «умета», — это не арго, специальная речь, доступная лишь членам шайки, а языки пословиц и загадок — густок национально-самобытной стихии языка. Смысл речи, непонятный Гриневу, прекрасно понятен читателю.

Разные по образу жизни, интересам, нравственным идеалам и поэтическому вдохновению, миры дворянский и крестьянский имеют и разные представления о государственной власти. Пушкин отбросил разделение властей на «законные» и «незаконные». Еще во время путешествия по Уралу он обнаружил, что народ разделяет власть на дворянскую и крестьянскую и, подчиняясь силе первой, законной для себя считает вторую. В «Замечаниях о бунте» Пушкин писал: «Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом? — Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович» (IX, I, 373). Но и правительство — дворянская власть — по-разному относится к «своим», даже если они «изменники», и к «чужим». Оно вершит не правосудие, а классовую расправу: «Замечательна разность, которую правительство полагало между дворянством личным и дворянством родовым. Пропорции Минеев и несколько других офицеров были проганы сквозь строй, наказаны батогами и пр. А Шванвич только ощельмован преломлением над головою шлаги» (там же.— С. 374). Дворянская историография рассматривала самодержавную государственность как единственно возможную форму власти. В ее представлении народное движение может привести лишь к хаосу и гибели государства. Не только реакционные, но и либеральные мыслители XVIII — начала XIX в. считали, что народное восстание несет с собой общественный хаос. Просветительская точка зрения, особенно в ее демократическом — руссоистском или радищевском — варианте, исходила из представлений о народном суверените и праве угнетенных на восстание. Совершенно с иных, чем у дворянских идеологов, позиций просветительство было также нормативно. Оно делило государственные системы на правильные и неправильные и для каждого народа в данный исторический момент допускало лишь одну возможность.

Позиция Пушкина была принципиально иной. Увидев раскол общества на две противопоставленные, борющиеся силы, он понял, что причина подобного раскола лежит не в чьей-либо злой воле, не в низких нравственных свойствах той или иной стороны, а в глубоких социальных процессах, не зависящих от воли или намерений людей. Поэтому Пушкину глубоко чужд односторонне-дидактический подход к истории. Он в борющихся сторонах видит не представителей порядка и анархии, не борцов за «естественное» договорное общество и нарушителей исконных прав человека. Он видит, что у каждой стороны есть своя, исторически и социально обоснованная «правда», которая исключает для нее возможность понять резоны противоположного лагеря.

Более того, и у дворян, и у крестьян есть своя концепция законной власти и носители этой власти, которых каждая сторона, с одинаковыми основаниями, считает законными. Екатерина — законная дворянская царица, и ее управление соответствует правовым идеалам дворянства. Сама законность принципов ее власти делает, в глазах дворянства, второстепенным вопрос о недостатках ее личного характера, неизбежном спутнике самодержавия. И старик Гринев, в облике которого Пушкин сознательно приглушил черты аристократического фрондерства, свел их с пьедестала самостоятельной политической позиции до уровня характеристической черты человека эпохи, наставляет сына: «Служи верно, кому присягнешь» (VIII, I, 282). С точки зрения героев-дворян, Пугачев — «злодей». Иван Кузьмич говорит Пугачеву: «Ты мне не государь», а Иван Гнатьевич повторяет: «Ты нам не государь» (там же.— С. 324—325). Со своей стороны, крестьяне в повести, подобно собеседнику Пушкина Д. Пьянову, считают Пугачева законным властителем, а дворян — «государевыми» служителями. Готовя материалы к «Истории Пугачева», Пушкин записал, что яицкие казаки «кричали: Не умели вы нас прежде взять, когда у нас Хозяина не было, а теперь Батюшка наш опять к нам приехал — и вам уж взять нас не можно; да и долго ли вам, дуракам, служить женщине — пора одуматься и служить государю» (IX, 2, 766—767). Гринев же не может признать Пугачева царем: «Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» (VIII, I, 332).

Пушкин ясно видит, что, хотя «крестьянский царь» заимствует внешние признаки власти у дворянской государственности, содержание ее — иное. Крестьянская власть патриархальное, прямое связано с управляемым массой, лишена чиновников и окрашена в тоне семейного демократизма. На «странным» для Гринева военном совете у Пугачева «все обходились между собою как товарищи, и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю» (там же.— С. 330). В этом смысле каравеллерские ленты на крестьянских тулах сподвижников Пугачева и оклеенная золотой бумагой крестьянская избы с рукоятником на веревочке, полотнем на гвозде, ухватом в углу и широким шестком, установленным горшками, — «дворец» Пугачева, — глубоко символичны.

Но именно эта крестьянская природа политической власти Пугачева делает его одновременно вором и самозванцем для дворян и великим государем для народа. Пугачев сам говорит Гриневу, что «кровопийцем» его называет «ваша братья» (там же.— С. 352), а Гринев-старший знает, как и все дворяне, что цель «гнусного бунта» была «ниспровержение престола и истребление дворянского рода» (там же.— С. 369).

Осознание того, что социальное примирение сторон исключено, что в трагической борьбе обе стороны имеют свою классовую правду, по-новому раскрыло Пушкину уже давно волновавший его

вопрос о жестокости как неизбежном спутнике общественной борьбы. В 1831 г. Пушкин, напряженно ожидавший новой «пугачевщины», взволнованно наблюдал проявления жестокости восставшего народа. 3 августа 1831 г. он писал Вяземскому: «Ты верно слышал о возмущениях Новгородских и Старой Руси. Ужасы! Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новг^{ородских} поселен^{иях} со всеми утончениями злобы. Бунтовщиков их скели, были по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасилывали жен: 15 лекарей убито ^{<...>} бунт Старо-Русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четвертили одного генерала, зарывали живых, и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. — Плохо, ваше сиятельство!» (XIV, 204—205)¹. Впечатления Пушкина в этот период, видимо, совпадали с мыслями его корреспондента, видевшего события вблизи, Н. М. Коншина, который писал Пушкину: «Как свиреп в своем ожесточении добрый народ русской! жалеют и истязают» (там же. — С. 216). Эту двойную природу народной души — добрую, но ожесточенную — Пушкин тогда попробовал воплотить в образе Архипа, убивающего чиновников² и спасающего кошку.

К моменту создания «Капитанской дочки» позиция Пушкина изменилась: мысль о жестокости крестьян заменилась представлением о роковом и неизбежном ожесточении обеих враждующих сторон. Он начал тщательно фиксировать кровавые расправы, учиненные сторонниками правительства. В «Замечаниях о бунте» он писал: «Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений!.. «Остальных человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши» (IX, 1, 373). Рядом с рассказом о расстреле пугачевцами Харловой и ее 7-летнего брата, которые перед смертью «сползли» и обнялися — так и умерли», Пушкин внес в путевые записки картину зверской расправы правительственные войск с ранеными пугачевцами: «Когда под Тат.^{<ищевой>} разбили Пугачева, то яиц^{<их>} прискакало в Оз.^{<ерную>} израненных, — кто без руки, кто с разрубленной головой. ^{<...>} А гусары галицкие и Хорваты^{<?>} так и ржут по улицам, да мясничат их» (IX, 2, 496—497; курсив Пушкина. — Ю. Л.).

¹ Истолкование значения этой цитаты для истории замысла «Капитанской дочки» см. в кн. Оксана Ю. Г. Указ. соч.— С. 24.

² Для концепции Пушкина первой половины 1830-х гг. показательно, что жертвой восставшего народа оказываются именно чиновники — слуги самодержавия и связанный с ним псевдоимпериатария, а не «свои» помещики. Восстания в военных поселениях, как бы подтверждали эти убеждения: они были направлены против военных чиновников, подчиненных правительству.

³ В черновом варианте Пушкин распространял это место: «Иных, пишет Рычков, растягивали на кольях, других повесили ребром за крюки; некоторых

Пушкин столкнулся с поразившим его явлением: крайняя жестокость обеих враждующих сторон пристекала часто не от кровожадности тех или иных лиц, а от столкновения непримиримых социальных концепций. Добрый капитан Миронов не задумываясь прибегает к пытке, а добрые крестьяне вешают невиновного Гринева, не испытывая к нему личной вражды: «Меня притянули под виселицу. «Не бось, не бось!» — повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить» (VIII, 1, 325).

В том, что жестокость нельзя объяснить случайными причинами или характерами отдельных людей, убедил Пушкина рассказ Крылова о том, какое ожесточение вызывала между детьми даже «игра в пугачевщину»: «Дети разделялись на две стороны, гордовую и бунтовскую, и драки были значительные ^{<...>} произошло в ребятах, между коими были и взрослые, такое остервенение, что принуждены были играть запретить. Жертвой оной чуть было не сделался некто Анчалов (живой доняне). Мертваго, поймав его, в одной экспедиции, повесил его кушаком на дереве. — Его отцепил прохожий солдат» (IX, 2, 492).

Невозможность примирения враждующих сторон и неизбежность кровавой и истребительной гражданской войны открылась Пушкину во всем своем роковом трагизме. Это только подчеркивалось тем, что, излагая события глазами наблюдателя-дворянина, Пушкин показывал социальную узость и необъективность точки зрения повествователя. Гринев пишет: «Шайка выступила из крепости в порядке» (VIII, 1, 336), и стилистический оксюморон «шайка выступила», подчеркнутый обстоятельством образа действия «в порядке», показывает и объективную картину выступления войска крестьян, и невозможность для наблюдателя-дворянина увидеть в этом войске что-либо, кроме шайки. Так построена вся ткань повествования. Из этого, бесспорно, вытекает и то, что вызывавшие длительные споры сентентии повествователя принадлежат не Пушкину. Ни из этого еще не вытекает того, что Пушкин с ними не согласен.

Определение отношения автора к изображаемым им лагерям — коренний вопрос в проблематике «Капитанской дочки». Спор о том, кому следует приписать ту или иную сентентию в тексте, не приблизит решения этого вопроса, ибо ясно, что сам способ превращения исторических героев в рупор авторских идей был Пушкину глубоко чужд. Гораздо существеннее проследить, какие герои и в каких ситуациях вызывают симпатии автора. Когда-то, создавая оду «Вольность», Пушкин считал закон силой, стоящей над народом и правительством, воплощением справедливости. Сейчас перед ним раскрылось, что люди, живущие в социально разорванном обществе, неизбежно находятся во власти одной из двух взаимоисключающих концепций законности и справедливости, причем законное с точки зрения одной социальной силы оказывается беззаконным с точки зрения другой. Это убеждение обогатило

Пушкина высоким историческим реализмом, позволило увидеть в истории столкновение реальных классовых сил и подвело к созданию таких глубоких по социальной аналитичности произведений, как «Сцены из рыцарских времен».

Но это же проникновение в законы истории снова и по-новому поставило перед Пушкиным издавна волновавший его вопрос о соотношении исторически неизбежного и человеческого. Мысль о том, что исторический прогресс неотделим от человечности, постоянно в той или иной форме присутствовала в сознании Пушкина.

Диалектика прав исторической закономерности и прав человеческой личности волновала Пушкина с 1826 г. Но теперь история предстала как внутренняя борьба, а не как некое единое движение¹, и Пушкин встал перед вопросом соотношения социальной борьбы и этического критерия гуманности.

Пушкин раскрывает сложные противоречия, возникающие между политическими и этическими коллизиями в судьбах его героев. Справедливое с точки зрения законов дворянского государства оказывается бесчеловечным. Но было бы недопустимым упрощением отрицать, что этика крестьянского восстания XVIII в. раскрылась Пушкину не только в своей исторической оправданности, но и в чертах, для поэта решительно непримлемых. Сложность мысли Пушкина раскрывается через особую структуру, которая заставляет героев, выходя из круга свойственных им классовых представлений, расширять свои нравственные горизонты. Композиция романа построена исключительно симметрично². Сначала Маша оказывается в беде: суровые законы крестьянской революции губят ее семью и угрожают ее счастью. Гринев отправляется к крестьянскому царю и спасает свою невесту. Затем Гринев оказывается в беде, причина которой на сей раз кроется в залахах дворянской государственности. Маша отправляется к дворянской царице и спасает жизнь своего жениха.

Рассмотрим основные сюжетные узлы. До десятой главы действие подчинено углублению конфликта между дворянским и крестьянским мирами. Герой, призванный воспитанием, присягой и собственными интересами стоять на стороне дворянского государства, убежден в справедливости его законов. Нравственные и юридические нормы его среди совпадают с его стремлениями как человека. Но вот он в осажденном Оренбурге узнает об опасности, грозящей Маше Мироновой³. Как дворянин и офицер он обращается к своему начальнику по службе с просьбой о помощи,

¹ В «Полтаве» борьба идет между Петром и вне истории стоящими эгоистами, честолюбцами, странствующими паладинами (Мазепа, Карл XII), в «Капитанской дочке» — Пугачев и Екатерина II представляют два полюса русского XVIII в.

² Об этом см. в кн.: Благой Д. Д. Мастерство Пушкина. — М., 1955. XI главы.

116

но в ответ слышит лекцию о предписаниях военного устава: «— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и пол -сотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

«Как это? Очистить Белогорскую крепость?» — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром.— Только отпустите меня.

«Нет, молодой человек, — сказал он, качая головою.— На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникаций с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...»

Я испугался, увида его завлеченного в военные рассуждения» (ВИП, I, 343).

Речи и действия генерала справедливы и обоснованы с уставной точки зрения. Они законны и закономерны. Дав Гриневу войска, он нарушил бы правила военной теории, не дав их, он нарушает лишь требования человечности. Канцеляризм оборотов речи генерала подчеркивает новую сторону идеи законности: она оборачивается к героям своей формальной, бесчеловечной стороны. Это особенно ясно после того, как Гринев раскрывает генералу свою интимную занинтересованность в судьбе Марии Мироновой. Он слышит ответ: «Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и пол -сотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагородсмана; я не могу взять ее на свою ответственность» (там же). Генерал как человек сочувствует Гриневу, но действует как чиновник.

Гринев предпринимает совершенно неожиданный для русского дворянина и офицера XVIII в. шаг (недаром он сам называет свою мысль «странной»): он выходит из сферы действия дворянских законов и обращается за помощью к мужицкому царю. Однако в стане восставших действуют свои законы и нормативные политические идеи, которые столь же равнодушны к человеческой трагедии Гринева. Более того, как дворянин, Гринев враждебен народу, и законы восстания, политические интересы крестьян требуют не оказывать ему помощи, а уничтожить его. Подобное действие вытекало бы не из жестокости того или иного лица, а из автоматического применения общего закона к частному случаю. Желая остаться дворянином и получить помощь от Пугачева, Гринев явно непоследователен. На это тотчас же указывает сподвижник Пугачева Белобородов. Он говорит: «...Не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебе государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести

его в приказную, да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров» (там же.— С. 348). Совет этот не выдает в его авторе какой-либо особой жестокости: пытка в XVIII в., как Пушкин специально подчеркнул в двух параллельных сценах и специальном размышлении Гринева, входила в нормальную практику дворянского государства. Что касается до сутичности недоверия Белобородова Гриневу, то оно вполне оправдывается классовыми интересами крестьянской революции. Белобородов не верит Гриневу, потому что видит в нем дворянином и офицера, не признающего власти мужицкого царя и преданного интересам мира господ. Он имеет все основания заподозрить в Гриневе шпиона и, оставаясь в пределах интересов своего лагеря, совершенно прав. Этого не может не признать и Гринев: «Логика старого злодея показалась мне довольно убедительной. Мороз пробежал по всему моему телу...» (там же.— С. 348). Следует учесть, что характеристика Белобородова как злодея — дань социальной позиции Гринева, который оправдывает прибегающего к пытке капитана Миронова нравами эпохи. Тогда станет ясно, что стремление пугачевского «фельдмаршала» отождествить живого человека с его социальной группой и перенести на него личность весь свой — справедливый — социальный гнев, обращаться с каждым из представителей враждебного класса по политическим законам отношения к этому классу повторяет логику остальных героев произведения: мирановых, зуриных и др. По этим же законам действует и совсем не «злодей», а заурядный человек своего мира, Зурин. Одних слов: «Государек кум со своей хоziашюкою», т. е. свидетельства о принадлежности пойманных людей к миру восставших, ему достаточно, чтобы, не размыслия, отправить Гринева в острог и приказать «хоziашку «к себе» привести» (там же.— С. 361). Но вот Гринев арестован, он приведен на суд. Его судьи — «пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осмы, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении» (там же.— С. 367) — тоже поступают «по законам». Они видят в Гриневе только связанныго с «бунтовщиками» политического противника, а не человека. Уверенность же Гринева в том, что ему удастся оправдаться, зиждилась совсем на иных основаниях — чувстве своей человеческой правоты. С точки зрения дворянских законов Гринев действительно виноват и заслуживает осуждения. Не случайно приговор ему произносит не только дворянский суд, но и родной отец, который называет его «ошельмованым изменником». Показательно, что не позорная казнь, ожидающая сына, составляет, по мнению Гринева-отца, бесчестие, а измена дворянской этике. Казнь даже возвышает, если связана с возвышенными, для дворянства, умыслами и делами. «Не казнь страшна: прашур мой умер на лобном месте, отставая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину из-

менить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!..» (там же.— С. 370).

Как только Гринев понял, что судья нет дела до человеческой стороны его поступков, он прекращает самозащиту, боясь впутать Машу в бесчеловечный процесс формалистического судоизвестия.

Везде, где человеческая судьба Маши и Гринева оказывается в соприкосновении с оправданными внутри данной политической системы, но бесчеловечными по сути законами, жизни и счастью героев грозит смертельная опасность.

Но героя не погибают: их спасает человечность. Машу Миронова спасает Пугачев. Ему нечем оправдывать доводы Белобородова: политические интересы требуют расправиться с Гриневым и не пощадить дочь капитана Миронова. Но то чувство, которое примитивно, но прямо выразил Хлопуша, упрекнув Белобородова: «Тебе бы все душить, да разять <...> Разве мало крови на твоей совести» (там же.— С. 349), — руководит и Пугачевым. Он поступает так, как ему велят не политические соображения, а человеческое чувство. Он милостив, следовательно, непоследователен, ибо отступает от принципов, которые сам считает справедливыми. Но эта непоследовательность спасительна, ибо человечность таит в себе возможность более глубоких исторических концепций, чем социально оправданные, но схематичные и социально релятивные «законы». В этом смысле особо знаменательно то, что Пугачев одобрительно отзыается о попадье, которая, спасая Машу, обманула пугачевцев: «Хорошо сделала кумушка-попадья» (там же.— С. 356).

Судьба Гринева, осужденного и, с точки зрения формальной законности дворянского государства, справедливо,— в руках у Екатерины II. Как глава дворянского государства Екатерина II должна осуществить правосудие и, следовательно, осудить Гринева. Замечательен разговор ее с Машей Мироновой: «Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду? — Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия» (там же.— С. 372). Противопоставление милости и правосудия, невозможное ни для просветителей XVIII в., ни для декабристов, глубоко знаменательно для Пушкина¹. Справедливость — следование за-

¹ Г. П. Макогоненко считает, что Гринев не совершил по отношению к дворянскому государству юридического преступления, а стал простой жертвой не-добросовестного оговора Швабрина, и, следовательно, Екатерина II в повести не находится перед трудным выбором между справедливостью и милостью. Если принять такое рассуждение, то слова Маши Мироновой о том, что она ищет «милости, а не правосудия», теряют всякий смысл. Ведь если Гринев не сказал судьи все праши, которая могла его совершенно обелить, поскольку боялся впутать Машу, то у нее самой в разговоре с императрицей таких побуждений быть не могло, и, следовательно, ей ничего не стоило восстановить правосудие, если оно было нарушено. Г. П. Макогоненко совершенно игнорирует тот факт, что текст XI главы («Мятежная слобода») был переработан Пушкиным уже в беловой рукописи, по мнению Б. В. Томашевского, «явно из стремления

конам — осуждает на казнь сначала Клавдио, а затем и самого Анджело, милость — спасает их: «И Дук его простили... Петр прощенье торжествует, / Как победу над врагом», «виноватому вину / Отпускает, веселится» (III, I, 409). Тема милости становится одной из основных для позднего Пушкина. Он включил в «Памятник» как одну из своих высших духовных заслуг то, что он «милость к падшим призвал». «Милость» для Пушкина — отнюдь не стремление поставить на деспотизм либеральную заплату. Речь идет об ином: Пушкин мечтает о формах государственной жизни, основанной на подлинно человеческих отношениях. Поэт раскрывает несостоятельность политических концепций, которыми руководствуются герои его повести, следующим образом: он заставляет их переносить свои политические убеждения из общих сфер на судьбу живой человеческой личности, видеть в героях не Машу Миронову и Петра Гринева, а «дворян» или «бунтовщиков». В основе авторской позиции лежит стремление к политике, которая возводит человеческую в государственный принцип, не заменяющий человеческие отношения политическими, а превращающий политику в человечность. Но Пушкин — человек трезвого политического мышления. Утопическая мечта об обществе социальной гармонии им выражается не прямо, а через отрицание любых политически реальных систем, которые могла предложить ему историческая действительность: феодально-самодержавных и буржуазно-демократических («слова, слова, слова...»). Поэтому стремление Пушкина положительно оценить те минуты, когда люди политики, вопреки своим убеждениям и «законным интересам», возвышаются до простых человеческих душевых движений, — совсем не дань «либеральной ограниченности», а любопытнейшая веха в истории русского социального утопизма — закономерный этап на пути к широчайшему течению русской мысли XIX в., включающему и утопических социалистов, и крестьянских утопистов-управителей, и весь поток духовных исканий, который, по словам В. И. Ленина, «выстрадал», подготовил русский марксизъ.

Как можно более удовлетворить требованиям цензуры» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т.—Л., 1978.—Т. IV.—С. 537). Отсюда — неясность в описании дальнейшей судьбы героя. По беловой рукописи главы Гринев во время военных действий самовольно оставил свой пост и добровольно отправился в лагерь ордена («Я направил путь к Бердской слободе, пристанищу Пугачева», VIII, I, 345), а не был насильно захвачен пугачевцами во время попытки пробиться в Белогорскую крепость. Это, бесспорно, преступление с точки зрения военного суда. Достаточно представить себе, что любой офицер любой армии во время войны совершил подобный поступок, который на языке военного суда именуется дезертирством и общением с неприятелем, чтобы всякие рассуждения о юридической невиновности Гринева отпали сами собой. Показательно, что даже 60 лет спустя такой сюжет невозможно было надеяться пропустить сквозь цензуру. Однако именно он отражает подлинный замысел Пушкина, и лишь он полностью объясняет дальнейшее развитие событий. Представление о том, что все дело лишь в клевете Швабрина, снижает драматизм ситуации и сводит глубокую социально-этическую проблему к обычной коллизии частного авантюрного плана.

В связи со всем сказанным приходится решительно отказаться, как от упрощения, от распространенного представления о том, что образ Екатерины II дан в повести как отрицательный и сознательно сниженный. Для того чтобы доказать этот тезис, исследователям приходится совершать грубое насилие над пушкинским текстом. Приведем один пример. Д. Д. Благой в богатой тонкими наблюдениями книге «Мастерство Пушкина» приводит обширную цитату из знаменитой сцены встречи Марии Мироновой и императрицы в царскосельском парке, обрывая ее на словах: «Как неправда!» — возразила дама, вся вспыхнувшая, и комментируя: «От «прелести неизъяснимой» облика незнакомки, как видим, не остается и следа.

Перед нами не приветливо улыбающаяся «дама», а разгневанная, властная императрица, от которой бесполезно ждать снисхождения и пощады. Тем ярче по сравнению с этим проступает глубокая человечность в отношении к Гриневу и его невесте Пугачевой¹.

Однако «Капитанская дочка» — настолько общезвестное произведение, что неподготовленному читателю известно: в повести Екатерина II помиловала Гринева подобно тому, как Пугачев Машу и того же Гринева. Что же после этого означают слова о том, что от нее «бесполезно ждать снисхождения и пощады»? В исследовательской литературе с большой тонкостью указывалось на связь изображения императрицы в повести с известным портретом Боровиковского. Однако решительно нельзя согласиться с тем, что бытовое, «человеческое», а не условно-одилическое изображение Екатерины связано со стремлением «снизить» ее образ или даже «разоблачить» ее как недостойную своей государственной миссии правительницу. Пушкину в эти годы глубоко свойственно представление о том, что человеческая пристрастия составляют основу величия (ср., например, «Полководец»).

Именно то, что в Екатерине II, по повести Пушкина, рядом с императрицей живет дама средних лет, гуляющая по парку с собачкой, позволило ей проявить человечность. «Императрица не может его простиТЬ», — говорит Екатерина II Маше Мироновой. Однако она — не только императрица, но и человек, и это спасает героя, а непредвзятому читателю не дает воспринять образ как односторонне отрицательный.

Ставить вопрос: на чьей из двух борющихся сторон стоит Пушкин? — значит не понимать идейной структуры повести. Пушкин видит роковую неизбежность борьбы, понимает историческую обоснованность крестьянского восстания, отказывается видеть в его руководителях «злодеев». Но он не видит пути, который от идей и действий любого из борющихся лагерей ведет к тому

¹ Благой Д. Мастерство Пушкина.— С. 264.

обществу человечности, братства и вдохновения, туманные контуры которого возникали в его сознании.

Темы: отношение Пушкина к социально-утопическим учениям Запада 1820—1830-х гг. и роль его в развитии русского утопизма¹ — не только не изучены, но и не поставлены. Между тем вне этой проблематики многое в творчестве позднего Пушкина не может быть понято или получает неправильное истолкование. Настоящий очерк не ставит и не может ставить перед собой задачи изучения этих сторон творчества Пушкина, однако не учитывать их невозможно.

Утопические идеи 1820—1830-х гг. при всем своем разнообразии имели некоторые общие черты: критику капитализма как экономической системы, буржуазной демократии как политической системы, разочарование в политической борьбе, которую приравнивают к буржуазному политицизму, разочарование в насилиственной революции, как приводящей к буржуазным порядкам. Разочарование в парламентских формах политической жизни в сочетании с отсутствием ясного представления об исторических путях, которые могут привести к грядущему справедливому обществу, породило у определенной части утопистов преувеличенные надежды на правительство, особенно на личную власть, якобы способную вызываться над современным ему обществом. В этом отношении, например, показательна сложная диалектика отношения Белинского к правительству в конце 1840-х гг.

Весьма любопытно отношение к этому вопросу Пушкина — автора «Капитанской дочки».

В период «Полтавы» поэт, перед которым раскрылась закономерность как основная черта истории человечества, склонен был считать великим лишь того исторического деятеля, который победил в себе все случайное, индивидуальное, человеческое, слив свое «я» без остатка с прогрессивным историческим развитием. Но уже с «Героя», с его требованием оставить герою сердце, все более выдвигается вперед представление о том, что прогрессивность исторического деятеля измеряется степенью его человечности. У этого вопроса был и другой аспект. Начало 1830-х гг. — время роста антисамодержавных настроений Пушкина. В произведениях типа «Моей родословной» и «Дубровского» правительство, опирающееся на псевдоаристократию и чиновников, — основной враг. Царь — воплощенное государство, вершина его аппарата. Во вторую половину 1830-х гг. для Пушкина характерны утопические попытки отдельить личность царя от государственного аппарата. Отделив его — живого человека — от бездушной бюрократической машины, он надеялся, сам ощущая утопичность своих надежд (в 1834 г. он писал в дневни-

ке о безнравственности политических привычек Николая I: «Что ни говори, мудрено быть самодержавным»; XII, 329), на помощь человека, стоящего во главе государства, в деле преобразования общества на человеческой основе, создания общества, превращающего человечность и доброту из личного свойства в государственный принцип. Таков Дук в «Анджело», Петр в «Пире Петра Великого». В этом смысле любопытно, и это отметил Ю. Г. Оксман, что в «Капитанской дочки» подчеркнута, по сравнению с «Историей Пугачева», роль Пугачева как руководителя народного государства. В «Истории Пугачева» Пушкин был склонен видеть в нем отважного человека, но игрушку в руках казачьих вожаков. Так, Пушкина привлекло «приватное известие» о том, что якобы арестованный Пугачев «уличал» своих сподвижников, «что они несколько дней упрашивали (в вариантах выразительнее: <тр->ебовали>) его принять на себя имя пок.<оиного> государя и быть бы их предводителем, от чего он долго отрицался, а наконец, хотя и согласился, но все делал с их воли и согласия, а они иногда и без и против его» (IX, 2, 771—772). Из тех же соображений Пушкин привлек рассказ о гибели любимица Пугачева Карнишского: «Уральск.<иे>каз.<аки> из ревности в Тат.<ищевой> посадили его в кульда и бросили в воду. — Где Карн.<ицкий>, — спросил Пугачев. — Пошел к матери по Яику, отвечали они. Пугачев махнул рукой и ничего не сказал. — Таксова была воля яицк.<им> казакам!» (там же.— С. 496).

В «Капитанской дочке» Пугачев наделен достаточной властью, чтобы самостоятельно и вопреки своим сподвижникам спасти и Гринева, и Машу Миронову. Пушкин начинает ценить в историческом деятеле способность проявить человеческую самостоятельность, не растворяться в поддерживающей его государственной бюрократии, законах, политической игре. Прямое, без посредующих звеньев, обращение Марии к Екатерине II, доступность и человечность Дука, который не ставит между жизнью и собой мертвый фикции закона, независимость Пугачева от мнений своих «пьяниц», которые «не пощадили бы бедную девушку» (VIII, 1, 356), обеспечивают счастливые развязки человеческих судеб.

Было бы заблуждением считать, что Пушкин, видя ограниченность (но и историческую оправданность) обоих лагерей — дворянского и крестьянского, приравнивал их этически. Крестьянский лагерь и его руководители привлекали Пушкина своей поэтичностью, которой он, конечно, не чувствовал ни в оренбургском комендантте, ни во дворе Екатерины. Поэтичность же была для Пушкина связана не только с колоритностью ярких человеческих личностей, но и с самой природой народной « власти», чужой бюрократии и мертвящего формализма.

Русское общество конца XVIII в., как и современное поэту, не удовлетворяет его. Ни одна из наличных социально-полити-

¹ «Утопизм» понимается здесь как широкое понятие. См.: Лотман Ю. Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х гг. // Уч. зап. Тартуского ун-та.— Тарту, 1962.— Вып. 119. Труды по русской и славянской филологии.— V.

тических сил не представляется ему в достаточной степени человечной. В этом смысле любопытно соотнесение Гринева и Швабрина. Нельзя согласиться ни с тем, что образ Гринева принужден и оглушен, вроде, например, Белкина в «Истории села Горюхина», ни с тем, что он лишь по цензурным причинам заменяет центрального героя типа Дубровского — Швавинца¹.

Гринев — не рупор идей Пушкина. Он русский дворянин, человек XVIII в., с печатью своей эпохи на челе. Но в нем есть нечто, что привлекает к нему симпатии автора и читателей: он не укладывается в рамки дворянской этики своего времени, для этого он слишком человекен. Ни в одном из современных ему лагерей он не растворяется полностью. В нем видны черты более высокой, более гуманной человеческой организации, выходящей за пределы его времени. Отсвет пушкинской мечты о подлинно человеческих общественных отношениях падает и на Гринева. В этом — глубокое отличие Гринева от Швабрина, который без остатка умещается в игре социальных сил своего времени. Гринев у пугачевцев на подозрении как дворянин и заступник за дочь их врага, у правительства — как друг Пугачева. Он не «пришелся» ни одному лагерю, Швабрин — к обоим: дворянин со всеми дворянскими предрасудками (дуэль), с чисто сословным презрением к достоинству другого человека, он становится слугой Пугачева. Швабрин морально ниже, чем рядовой дворянин Зурин, который, воспитанный в кругу сословных представлений, не чувствует их бесчеловечности, но служит тому, в справедливость чего верит. Для Пушкина в «Капитанской дочки» правильный путь состоит не в том, чтобы из одного лагеря современности перейти в другой, а в том, чтобы подняться над «жестоким веком», сохранив в себе гуманность, человеческое достоинство и уважение к живой жизни других людей. В этом для него состоит подлинный путь к народу.

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗМА ПОЗДНЕГО ПУШКИНА

Творчество Пушкина последних лет жизни — один из важнейших этапов не только его художественного пути, но и всей истории русской литературы. Именно в этот период художественное мастерство поэта достигло особой зрелости и глубины. Создания этих лет не только предсказали пути Гоголя, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, но и во многом остались и остаются так и не превзойденными шедеврами. Необычайная насыщенность мыслью, лаконичность произведений при поражающей глубине

¹ Для того чтобы обеспечить прохождение «Капитанской дочки» в печать, Пушкин должен был пойти на расщепление образа дворянин-интеллигента в стиле Пугачева. Положительными чертами Швавинича наделен Гринев, а отрицательными — Швабрин» (Оксман Ю. Г. Указ. соч.— С. 76).

смысла делают творчество Пушкина этих лет совершенно уникальным явлением мировой литературы. На пушкинских торжествах 1880 г. в «Застольном слове о Пушкине» А. Н. Островский отметил, что читатель Пушкина умнеет, даже если сам не может заметить «свое умственное обогащение». Глубокая мысль Островского связана с тем, что Пушкин дает читателю не только плоды своих размышлений, но и учит самостоятельно думать: «Пушкинами восхищаются и умнеют, восхищаются и умнеют». Пушкин дает не конечную, застывшую, а живую, динамическую мысль. В этом, как мы постараемся показать, одна из типологических особенностей его позднего творчества.

Изучение творчества последних лет затруднено тем, что многие замыслы остались незавершенными. Нам придется прибегать к реконструкциям, а иногда выдвигать осторожные гипотезы.

* * *

В 1834 г. в Петербурге была выставлена для обозрения картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи». На Пушкина она произвела сильное впечатление. Он сделал попытку срисовать некоторые детали картины и тогда же набросал стихотворный отрывок:

Безуший зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый [страхом],
Под каменным дождем, [под воспаленным прахом],
Толпами, стар и млад, бежит из града вои (III, 1, 332).

Сопоставление текста с полотном Брюллова раскрывает, что взгляд Пушкина скользит по диагонали из правого верхнего угла в левый нижний. Это соответствует основной композиционной оси картины. Исследователь диагональных композиций, художник и теоретик искусства Н. Тарабукин писал: «Содержанием картины, построенной композиционно по этой диагонали, нередко является то или другое демонстрационное шествие». И далее: «Зритель картины в данном случае занимает место как бы среди толпы, изображенной на полотне».

Наблюдение Н. Тарабукина исключительно точно, и опрос информантов полностью подтвердил, что внимание зрителей картины, как правило, сосредоточивается именно на толпе. В этом отношении характерно мнение дворцового коменданта П. П. Мартынова, который, по словам современника, наблюдая картину, сказал: «Для меня лучше всего старик Помпей, которого несут